

ХРОНИКА

**Краткое обозрение итогов XIX Международного
конгресса византиноведческих исследований
(Копенгаген, 18–25 августа 1996 г.)¹**

18–25 августа 1996 г. в Копенгагене состоялся очередной (XIX) Международный конгресс византиноведческих исследований. В работе Конгресса участвовали ок. 350 ученых из 33 стран. Конгресс был организован Датским национальным комитетом византистов (президент Конгресса – проф. Копенгагенского университета Карстен Фледелиус) в сотрудничестве с Финским, Норвежским и Шведским национальными комитетами.

Конгресс в Копенгагене был следующим после Московского (XVIII), проведенного Национальным комитетом России (тогда – СССР) 8–14 августа 1991 г. Естественно поэтому, что Датский оргкомитет должен был поставить перед собой задачу наиболее полно учесть как положительный, так и негативный опыт организаторов Московского конгресса. Негативным при этом датские коллеги сочли прежде всего слишком большое количество пленарных тем и слишком большое количество структурных подразделений конгресса, которые работали одновременно, и это затрудняло участие в дискуссиях тех ученых, которых интересовала проблематика параллельно проходивших заседаний. Что касается количества проблем соответственно структурных ячеек Конгресса, то XVIII конгресс не отличался в этом отношении сколько-нибудь заметно от XVII Вашингтонского, и его тематика (почти вся), как и структура, была выработана с са-

мым активным участием Исполкома Ассоциации. Кроме того, Московский оргкомитет должен был учесть научные интересы вдвое большего числа участников Конгресса (700 человек).

Само собою разумеется, в кратком обзоре можно дать лишь самое общее представление о научных итогах Конгресса, причем по преимуществу – лишь о его пленарных докладах.

Программой Конгресса было предусмотрено 5 пленарных заседаний по пяти главным темам (в Москве их было 8), 11 круглых столов и 9 коллоквиумов (в Москве было соответственно 15 и 16). На Конгрессе в Москве работала, кроме того, 21 секция. Фактически, однако, без секций не обошлось и на Конгрессе в Копенгагене – они представляли в качестве подразделений коллоквиумов, заседавших по несколько дней. (Например, коллоквиум “Внешние сношения Византии”, работавший 6 дней, имел в Копенгагене 6 подразделений – в Москве же каждое из них было выделено в особую секцию.) Было запланировано 48 пленарных докладов (из них 18 – по пятой, в сущности, информативной теме) и 318 сообщений на коллоквиумах (помимо трудно поддающихся учету выступлений на круглых столах).

Приведем названия всех пленарных тем: “Идентичность Византии”; “Образ Византии в глазах ее современников и ее влияние на

¹ Существенно сокращенный вариант обзора см.: *Литаврин Г.Г.* XIX Международный конгресс византиноведческих исследований // Вестник Российского гуманитарного научного фонда (М., 1997. № 3. С. 257–262).

Материалы Конгресса (пленарные доклады и тезисы сообщений) были опубликованы к его открытию: *Byzantium. Identity, Image, Influence // XIX International Congress of Byzantine Studies. University of Copenhagen, 18–24 August, 1996. Major Papers. Copenhagen, 1996; Byzantium. Identity, Image, Influence // XIX International Congress of Byzantine Studies. University of Copenhagen, 8–24 August, 1996. Index of Colloquia. Abstracts of Communications. Index of authors. Copenhagen, 1996.*

них”; “Византия и Север”; “Образ и влияние Византии после 1453 г.” и “Инструментарий исследований и распространение знаний: настоящее и будущее византиноведческих штудий”. Ясно, что 1-я, 2-я и 4-я темы концептуально взаимосвязаны (византийцы в собственных глазах, их образ у иных народов и взгляд на Византию в европейском обществе после 1453 г.).

Пленарные (главные) темы были предварены вступительными рефератами координаторов, или модераторов, ответственных за определение тематики докладов, подбор самих докладчиков и организацию дискуссии. В задачи координаторов входила также постановка проблемы в том аспекте, который на сегодняшний день представляется наиболее плодотворным. И. Кодер (Австрия) играл роль такого координатора по первой, едва ли не самой интересной теме, – о представлениях византийцев о собственных особенностях, отличавших их от других народов и политически организованных сообществ.

В своих “Вводных замечаниях” (с. 3–6) И. Кодер прежде всего подчеркнул относительную новизну и неразработанность проблемы. Хотя в самосознании византийцев о специфике своего государственного, идеологического и культурного единства на первом плане неизменно находились религия и политическая идеология, стабильными эти главные факторы византийской общности выглядели лишь при поверхностном наблюдении. Историческое прошлое империи возбудило у греков притязания на присвоение наследия римлян как своего собственного, что неизбежно подвергалось в дальнейшем испытаниям “на прочность”.

Первый комплекс вопросов, по мнению И. Кодера, как раз и связан с убеждением “ромеев” о себе как о ведущей в христианском мире правотворящей политической и военной силе – причем в явном противоречии с великолепным культурным прошлым, которое сами “ромей” долго расценивали негативно: они подвергали поношению “эллинское” наследие как языческое посредством эллинской же речи. Ни термин “эллинцы”, ни понятие “греки” не казались византийцам (“ромеем”) подходящими для самоназвания – оба термина приобрели уничижительный оттенок и внутри и вне границ государства, хотя и по разным причинам.

Убежденность в своем правоверии и величии империи не покидала мысль византийца – она обострялась в периоды внутренних коллизий (эпоха иконоборчества) и столкновений с внешними врагами, особен-

но с миром ислама, а затем – и странами Запада. И. Кодер подчеркнул, что заслуживающая в аспекте трактуемой проблемы особого внимания идея противостояния латинянам проходила красной нитью через всю историю эволюции византийского самосознания, активизируясь при обострении взаимных притязаний на верховенство, в частности, в эпоху крестовых походов и в особенности в никейский период, когда в верхах общества империи и в его образованных слоях отчетливо проявились черты греческого самосознания, близкого к тому, которое пришло грекам нового времени.

Но и утверждающееся постепенно с первой четверти XIII в. в сознании “ромеев” представление о себе как о греке также испытывало эволюцию и перемены и в этническом, и в религиозном отношении в ходе конфронтации с разными народами, как подданными империи (в том числе, например, с иудеями), так и с соседями, как христианскими так и мусульманскими, которые идеи ромеев о праве на превосходство противопоставляли собственные подобные притязания, выдвигая целую программу идеологического (“а значит – и политического”) превосходства.

И. Кодер полагает бесспорным, что индивид-подданный империи “соотносил” свою позицию с позицией “верхов”. Важное значение при этом имели и социальный статус подданного, и степень его образованности (индивидуальный объем исторической памяти). Кодер резонно замечает, что в столь “тонкой” сфере, как глубины сознания (добавим: тесно сопряженного к тому же с эмоционально-психологической сферой), каждый фиксируемый исследователем стереотип неизбежно является упрощением.

Автор призвал, наконец, проследить терминологические нюансы по разным группам (типам) источников и исследовать особенно тщательно место и значение фактора родной (господствующей – греческой) речи, справедливо указав при этом на важность такого живого, непосредственно отражающего “злобу дня” источника, как эпистолярная, в частности, письма Никифора Влеммида, написанные накануне и в правление Феодора II Ласкариса (1254–1258).

Заметим в заключение, что среди выдвинутых И. Кодером методологических принципов изучения проблем самосознания нет ни одного, который не использовался бы в этнологической и исторической советской (и российской) литературе последних десятилетий (на эту богатую литературу ни у Ко-

дера, ни у других докладчиков нет ни единой ссылки). Отметим также, что автор не упомянул еще об одном факторе, заслуживающем с точки зрения методологии едва ли не преимущественного внимания, – об иерархичности “структуры” самосознания, компоненты иерархии которого обладают подвижностью, способностью увеличиваться или уменьшаться численно, изменять свою ценностную нагрузку и в связи с этим перемещаться по “шкале” иерархии в зависимости от конкретных обстоятельств.

Состоявшиеся затем 6 докладов располагались в программе заседаний с учетом хронологической последовательности тех периодов, которых они касались.

Первым докладчиком по первой теме был Ев. Хрисос (Греция) (“Римская политическая идентичность во время поздней античности и ранней Византии” – с. 7–16), справедливо постулировавший необходимость начать рассмотрение мало изученной проблемы от истоков ее возникновения – со времен раздела империи на Западную и Восточную. Хрисос признает ведущую роль в формировании менталитета подданных Восточноримской империи трех главных факторов (римской политической доктрины, греческой культуры и христианской веры), основополагающее значение которых было убедительно продемонстрировано в “наиболее влиятельной, по выражению докладчика, настольной книге” Г. Острогорского “История Византийского государства”. Хрисос вполне резонно ставит вопрос о том, всегда ли сами византийцы считали названные три фактора основой их ментальности. Ибо и имперская “политическая ортодоксия” (по словам Г.-Г. Бека), и эллинская культура знали и взлеты, и падения в ходе 11 веков. Поэтому проблема может быть рассмотрена только в исторической перспективе, а поскольку тема необъятно широка, позволить, на взгляд докладчика, ограничить хронологически рассмотрение лишь поздне-римским – ранневизантийским периодом и тематически – только проблемой эволюции политической идентичности.

В поздней античности “римляне” – это подданные, связанные общей государственной и исторической солидарностью, осознающие континуитет своего единства со времен основания Рима. Такими были представления о себе по крайней мере в чиновных кругах и в образованной среде. Свободные жители (в отличие от рабов) и римляне (в отличие от иностранцев) автоматически являлись гражданами (освобожденный раб

также становился, по новелле Юстиниана I от 539 г., абсолютно равноправным гражданином) в противоположность иностранным ксенам, паломникам, а позднее – паломникам к святым местам.

Оформление этого самосознания прошло через несколько этапов в ходе V–VI вв.: от простого подданства к гражданству всех и от подданства всех граждан государству – к подданству его единоличному правителю. Безусловное подчинение имперской власти и имперским законам, включая выполнение определенных законом обязательств перед властями, являлось при этом необходимым условием. “Италы” (независимо от их этнического происхождения), как все жители полуострова, кроме рабов, стали именоваться после его завоевания Юстинианом I “римлянами”. И наоборот – неподвластные империи готы называли византийцев “греками”, а будучи подчинены ими, – “ромеями”, какими стали и сами. Однако даже в VI–VII вв. самый факт проживания на территории империи определенных этнических групп и контингентов еще не превращал всех в безусловно полноправных подданных императора. Еще имели место и длительная эволюция, и сомнения в статусе, и колебания в имидже (в частности, в отношении федератов и живущих в пограничных зонах “варварских племен” – исавров, готов, арабов и др.). Самосознание “ромейской общности” становилось все-таки достоянием подавляющего большинства рядовых подданных императора.

В целом, переломной в оформлении византийской гражданской структуры общества автор считает эпоху Юстиниана I. Именно в его правление завершилась трансформация понятия подданства ойкуменическому государству в представление о личном подданстве и личной верности каждого “ромей” императору, поглотившей этнические, социальные и иные отличия. Юридически ставшее определенным и повсеместным в государстве понятие “подданный” вытеснило понятие “гражданин”, а термин “Романия” – в сущности имя-пережиток обозначения прежнего единого отечества – впервые употреблено в “Дигестах” в новом четком значении названия государства, подвластного священной особе императора.

Это не означает, однако, что ко времени Юстиниана I понятие “полития” как государство римлян сменилось понятием “царство” (“василия”) единоличного правителя: полная подмена этих понятий никогда не имела места – чиновники клялись в верности и импе-

ратору и “политии”. Вопреки этому, обозначения “Греция” и “греческий”, фиксируемые с конца VIII в., стали весьма редкими в источниках, даже в географическом смысле.

Доклад П. Шпека (ФРГ) “Византийский ренессанс и классическая древность” (с. 17–25) был посвящен давно и основательно исследовавшемуся автором вопросу о степени преемственности между византийской и античной культурой. Вывод докладчика отрицателен. Докладчик считает далеко не бесспорным тезис, что христианское общество принимало как свою собственную античную нехристианскую литературу и культуру вообще. Когда Юлиан провозгласил, желая заменить христианство добрым язычеством: “Кто верит в Зевса, пусть читает Гомера, а кто в Христа – Матфея и Луку”, образованным “бюргерам” стало ясно, что им надлежит нечто большее, чем приобрести своих детей к античному образованию, а именно: соединить несоединимое.

VII век был столетием катастрофы в истории Византии: ее одолевали внешние враги, ослабляли внутренние смуты. Резко снизилась образованность. Ираклий был последним государем, воспитанным в античных традициях. Однако крах культуры не был всеобщим. “Темным” это время можно называть лишь в ограничительном смысле. Нечто новое явилось в VIII в. и в сфере религии: отвергнув иконоборчество, византийцы возвели икону в ранг защитницы остатков царства и его жителей. В обстановке относительного покоя в середине VIII в. Византия училась жить в новых, малых границах.

Консолидировались новые государства (в том числе и на землях империи). Франки и арабы, выиграв на военном поприще, захотели верховенства и в культурной сфере, овладев античным наследием. Византия, далеко не порвавшая всех связей с античностью, приняла в IX в. усиленно культивировать их. Рождалась самообольстительная идея превосходства над другими странами и народами: и царство у “ромеев” исконное (не плод завоевания), и царь подлинный, и традиции, и культура непревзойденные. Восстанавливались и школьное дело, и филологические и правовые штудии, латались огромные бреши в культуре. В науке эти деяния определили как византийские ренессансы (параллельные каролингскому и арабскому). Стимул находили и вне империи и внутри ее. Подкрадывалось убеждение, что их царство – только обломок старого и что попытка первых иконоклавов воссоздать его

провалилась полностью. А потому настоятельная задача состоит в восстановлении разоренной культуры.

Начался процесс преодоления культурных последствий катастрофы – тем более психологически нетрудный, что тяжелой катастрофы вообще не было, как и подлинного обвала культуры тоже. Византийцы снова имели одного царя, одно царство, единую культуру, причем – такую, до уровня которой другим было еще весьма далеко. Однако и ее уровень и мимесис старой у византийцев в “темные века” – весьма далеки также от совершенства. Самый возрождаемый литературный язык оставался вульгарным вплоть до Метастафа, когда снова могли адекватно понять античных классиков и с блеском подражать им, как это доказали риторы XII в.

Оковы мимесиса оказались, однако, непреодолимыми. Освобождение от них могло прийти только извне и только с Запада. Литераторы при дворе Мануила I ориентировались бесспорно на *Chanson de geste*, но и здесь они снова связали новое со своим традиционным, собственным – с позднеантичным романом. Снова восторжествовал принцип – не допустить и “глотка свежего воздуха” в угоду своей идентичности!

Арабы и франки тоже перенимали элементы античной культуры. Но их заимствования всегда служили импульсом для развития своей собственной и никогда не были ее оковами. Ни провансальская поэзия, ни Данте, ни арабские географы у византийцев оказались невозможными – у них по-прежнему царил строгий мимесис, рабское и бесплодное подражание античным образцам, лишенное творческого начала. Фрески в Сопочанах и Гемист Плифон – явление слишком позднее: турки уже стояли у ворот. Да и фрески эти оставались почти до наших дней неведомыми культурному миру, а что касается трудов Плифона, то их сожгли сами византийцы.

Несомненно, заключения крупнейшего знатока проблемы заслуживают серьезного внимания, но они находятся в явном противоречии с суждениями о византийской культуре и образованности большинства исследователей: доклад П. Шпека напоминает слишком категоричный и пристрастный приговор, с которым не согласились бы и сами современники византийских деятелей палеологовского возрождения ни во Франции, ни в Италии (не говоря уж об интеллектуалах Запада более раннего времени).

В докладе Д. Смита (Англия) “Визан-

тийская идентичность и теория наклеивания этикеток” (с. 26–36) первая пленарная проблема трактовалась в основном через призму распространенных в западной историографии социопсихологических и философско-антропологических теорий и не как проблема идентичности византийцев в сравнении их с другими народами, а по преимуществу как проблема специфики самых разных групп внутри самого византийского общества. Но и в этом аспекте в центре внимания автора – не столько идентичность широких или главенствующих слоев населения империи, а в основном незначительных (маргинальных) групп и индивидов. Хотя византийцы представляли собой особый феномен (говорили на греческом, называли себя римлянами и имели разное этническое происхождение), они тем не менее ощущали некое единство, обусловленное общим языком, единым самоназванием и сходными нормами жизни. Признавая значение в этом процессе так называемой “политической ортодоксии”, автор приписывает огромную роль также образованной элите, обслуживавшей аппарат власти и оказывавшей большое влияние на общественное сознание. Указывая на возможную пестроту представлений о факторах идентичности членов маргинальных групп, автор наряду с религией, этничностью и социальным рангом называет также пол и сексуальную ориентацию (sic!).

Согласно Беку, говорит докладчик, нормы поведения и жизни были продиктованы политической ортодоксией, идейно-духовными и правящими кругами автократического центра и всем таксисом имперской жизни. Трудно установить, однако, какие конкретно факторы и нюансы, какие отражения их в политике, культуре и в догматике находились на уровне восприятия масс. Вряд ли, по мнению автора, этничность, возникающая в сознании эпизодически, имела при этом серьезное значение. Во всяком случае правящая элита империи никогда не идентифицировала себя с точки зрения этничности.

Автор убежден, что исследователи, изучая проблему идентичности, не уделяют должного внимания теории, в частности теориям “штампов” (“наклеивания этикеток”) и девиации (отклонения от нормы, выражения наиболее характерных особенностей как личности, так и групп, слоев, классов). Девианты – не только убийцы, алкоголики, атеисты, артисты, но и другие маргиналы, поло-

жение которых как девиантов во многом определялось отношением к ним доминирующей в обществе группы.

Вполне вероятно, такого рода теоретические поиски (о которых в данном обзоре дано лишь самое приблизительное представление) полезны, но они стали бы гораздо более плодотворными, если бы были ориентированы на специфику самосознания византийцев и сочетались с анализом конкретного фактического материала источников.

Доклад К.В. Хвостовой (Россия) “Византийская цивилизация в сравнении со средневековым Западом” (с. 37–48) не состоялся: автор не смогла приехать по болезни. Доклад тем не менее был опубликован до Конгресса вместе с другими пленарными и был доступен его участникам. Он был посвящен специфике формирования в Византии ряда социально-экономических институтов. Значительную роль при этом играли способы снятия противоречий между мирскими и умозрительными формами сознания, а также между развивающимися явлениями повседневной жизни и традиционным правопорядком, отражающим государственный централизм. Механизм снятия был связан с авторитарной политикой императора, теоретическим обоснованием которой была идея свободы воли человека. В отличие от Запада ей в Византии придавалось огромное значение.

По убеждению византийцев, в результате синергии – восприимчивости человеком божественной благодати – происходило “обожение” всей жизни. Поэтому, если Фома Аквинский рассматривал собственность как результат права народов, то византийцы трактовали ее как действие “священных и божественных законов”. Механизм снятия упомянутых противоречий не оставался неизменным. В ранний период, например, власти запрещали частный патронат, приводивший к смешению частного и публичного права, четко различавшихся в Византии в отличие от Запада. Однако с ходом времени эта политика становилась все более противоречивой. Императоры жаловали элите привилегии, что способствовало ослаблению централизма и интенсификации феодализма.

Характерна практика обозначений экономических институтов, не находивших места в рамках традиционного правопорядка, с помощью наименований, заимствованных из сфер богословия. Так, название “прония”, юридически означавшее отчисление в пользу военачальников налога, восходит к богословскому понятию прония – “божественно-

го провидения”. Прочное крестьянское землевладение обозначалось термином “ипостась”, который является ведущим понятием в системе тринитарного богословия. Крестьяне, имевшие землю, назывались “энипости-ти”, а лишенные ее – “анипостати”. Оба эти названия используются в византийском богословии. Причина данной терминологической специфики – в византийском традиционализме. В XIII в. почти прекратилось издание новых правовых норм. Развивалось только право прецедентов. В целях включения их в систему традиционного правопорядка и придания им моральных и правовых гарантий использовались богословские понятия, которыми как бы освящались новые социально-экономические институты. Инкорпорирование явлений повседневной жизни в сферу религиозного опыта объясняется тем, что византийское богословие, в отличие от западной поздней схоластики, не признавало приоритет разума над жизненным опытом человека. В Византии совершалось “обожение” всей жизни человека, включенной в рамки проблем христологии и сотериологии.

Вопреки мнению ряда ученых, в докладе утверждается, что византийская прония претерпевала в XIII–XV вв. не расцвет, а упадок. Из актового материала известны факты ее обмена и даже продажи, что противоречило ее первоначальному назначению – содействовать укреплению государственного централизма. Последнее обстоятельство (наряду со многими другими известными факторами) отразило кризис поздневизантийских социально-экономических институтов.

Э.М. Брайер (Англия) в своем докладе “Поздневизантийская идентичность” (с. 49–50) указал прежде всего на зыбкость принятых в науке признаков, признаваемых вполне достаточными для определения идентичности византийцев в последний период существования империи. Так, наиболее широкий признак – “христиане”-ортодоксы как духовные чада константинопольского патриарха были подданными отнюдь не одного православного государя. Таковыми были, например, жители Понта: зависели они как православные от патриарха Константинополя, а подданными являлись императора Трапезунда. Позднее, под властью османов, понятие “ортодокс” указывало (по противопоставлению) прежде всего на то, что это “ни латинянин”, “ни мусульманин”. Что касается султана, то он считал достаточным обозначать термином “греки” всех своих христианских наследственных налогоплательщиков (ру-

ми). А патриарх Геннадий Схоларий определял свою паству как “избранный народ”, пребывающий в ожидании скорого конца света (через 39 лет – в 7000 г.).

Каким был “византийский паспорт” тех, с которым члены делегации империи отбыли с собора во Флоренции в 1439 г., спрашивает докладчик. Светский “паспорт” свидетельствовал о них как о подданных императора ромеев, а духовный уже был лишен необходимой четкости – Виссарион показал, что можно выбирать между двумя главными центрами христианства.

Паспорт вообще может вводить в заблуждение, заявляет докладчик: То, что я – британец, продолжает он, – не более, чем антикварный пережиток в этническом и политическом смысле, точно так же, как и понятие “ромей”. Характерно, что деспот Арты определял себя с юмором в 1399 г. как “сербалванитобулгаровлах”.

Поэтому, помимо религии и подданства, наиболее реалистичными признаками идентичности византийцев Брайер считает семью, культуру и место рождения. Роль культуры была важнее роли семьи, однако конкретный механизм ее воздействия определить весьма трудно. Язык среди элементов культуры – несомненный признак идентичности (позднее сама греческая речь долго идентифицировались с христианами-ортодоксами). Однако в качестве самого важного фактора докладчик называет малую родину, место происхождения, орошенное кровью местных героев и мучеников, дорогих сердцу всех земляков. Судя по письму от 11.XII.1461 г. Григория Амируци (рenegата на службе у турок) кардиналу Виссариону (рenegату, перешедшему в латинство), оба они продолжали ощущать близость друг к другу как земляки (их общей родиной был Трапезунд).

Экстравагантная манера высказывания докладчиком своих идей не умаляет значения самих идей, однако представляется сомнительным приравнивать по важности в качестве факторов идентичности византийцев их ортодоксию и подданство к семейным узам и землячеству. Эти категории (попарно) характеризуют идентичность совершенно разного уровня и соотносятся лишь как общее к частному.

Последний докладчик по первой пленарной теме – Л. Брубакер (Англия) (“Искусство и византийская идентичность: святые, портреты и типик Линкольнского колледжа” – с. 51–59) попыталась выявить, какими средствами византийцы стремились запечат-

леть свою идентичность в изобразительном искусстве, и не только в иконах, групповых и индивидуальных, и в портретных мозаиках, но также и в книжной миниатюре.

Докладчица начала свое выступление с упоминания о том сильном впечатлении, которое произвела на нее богатая выставка икон в Третьяковской галерее, устроенная в связи с XVIII Конгрессом. Она полагает, что помимо сакрального значения, помимо признания в священных изображениях предметов высокого искусства, они представляют собой также важный источник познания прошлого, в том числе и особенностей византийской идентичности. С восстановления иконопочитания в 843 в. религиозные изображения стали неотделимыми от ортодоксии византийцев и их самосознания.

Докладчица показала принципиальное значение (особенно на групповых изображениях), которое художник придавал (отражая принятые в обществе и свои собственные представления о престижности и социальном ранге) не только официальным регалиям и знакам отличия изображаемых персон, но и таким деталям, как соотношение размеров фигур, их расположение относительно друг друга и даже моделировка одеяния каждой из них.

Конкретное применение этих методологических принципов в целях уяснения поставленной на сессии проблемы идентичности Брубакер осуществила на примере анализа миниатюры в типике женского богородичного монастыря, на которой изображены родители основательницы обители Феодоры Палеологини – Константин Палеолог, его жена и их дети. (Рукопись хранится в Бодлейанской библиотеке Линкольнского колледжа в Оксфорде и датируется примерно 1330-м годом.) Членами императорской фамилии приданы индивидуальные черты. Вся аристократическая группа выразительно отделена от ее окружения, но и изображения монахов имеют все визуальные признаки коллективной византийской идентичности.

Несмотря на новизну поставленных в докладах проблем по первой пленарной теме и ряд интересных попыток их решения, дискуссия в целом не затронула многих важнейших аспектов темы. Доклады свидетельствовали о том, что четкая и специализированная методология изучения идентичности и соответствующий понятийный аппарат еще отсутствуют. Обильно уснащая свои доклады ссылками на современные философские, социологические и психологические ситу-

дии, имеющие порой весьма косвенное отношение к теме, докладчики демонстрировали полное незнакомство с работами российских (и советских) ученых, имеющих уже значительный опыт в изучении данной проблематики и выработавших необходимую для этого научную терминологию. Несколько неожиданно и обращение к изучению самоопределения маргинальных (в том числе асоциальных) групп, тогда как далеки от ясности генеральные вопросы темы, касающиеся самосознания правящих кругов империи и ее основных социальных слоев. Кажется, ряд докладчиков увлекало желание высказать как можно более оригинальное суждение, независимо от того, насколько оно адекватно реалиям той эпохи и какое значение имело в жизни людей того времени и имеет теперь для нас в углублении наших знаний о византийском менталитете.

Вторая пленарная тема была представлена также шестью докладами. По замыслу ее координатора, проф. Ж. Дагрона (Франция), докладчики должны были, по-видимому, раскрыть “образ” Византии “глазами” как можно более широкого круга ее современников. Об этом свидетельствует и заглавие выступления самого Дагрона на сессии “Образ Византии в глазах современников и ее влияние на них” (с. 61–71). Поскольку же, как выразился координатор, никто не обладает компетенцией, позволяющей трактовать все аспекты проблемы, он решил предложить типологию находившихся в сношениях с Византией народов, разделив их по крайней мере на пять категорий: 1. Этнические общности, которые одновременно находятся как бы внутри и будто бы вне империи (например, армяне и грузины). 2. Народы, которые приняли крещение от Византии (например, болгары и русские), но остались вне ее пределов, а порой посягали и на ее наследство. 3. Народы Запада, связанные с империей единством римских и христианских корней, но отделенные от нее ходом истории. 4. Народы исламского Востока – “враг интимный и противник восхищенный”. 5. Наконец, народы хотя и весьма отдаленные от границ Византии (например, китайцы), но знавшие о ее существовании.

Ссылаясь на то, что в ряде докладов на сессии отражены отношения с Византией славянского мира и Запада, Дагрон решил кратко охарактеризовать позицию трех типов “наблюдателей” Византии с Востока: с точки зрения зависимых от нее народов (армян и грузин), на взгляд пограничных (арабов) и с позиции народов, практи-

чески не имевших контактов с империей (китайцев).

В соответствии с этим доклад разделен далее на три раздела. В первом автор кратко описал всю сложность положения на Кавказе и трудности политики Византии в этом регионе – зоне взаимного проникновения византийцев, с одной стороны, и армян и грузин – с другой. Докладчик различает при этом два этапа: на первом политическое (феодалное) дробление власти в Армении и Грузии компенсировалось живым сознанием своих особенностей, а для армян – и чувством своей религиозной специфики. Политическая мозаика на Кавказе позволяла империи упрочить здесь с IX в. свое влияние, укрепить буфер между собой и миром ислама.

Но все изменилось, когда со второй четверти XI в. поток мигрантов с Востока под давлением сельджуков перекрестил границы империи и хлынул в Каппадокию. Остро встала проблема нормализации отношений и сосуществования с пришельцами, “зараженными” яковитской и монофизитской ересями, удержать равновесие, определить степень отчуждения религиозного и политического, мигрантов от ортодоксальных ромеев. Даже на армян-халкидонитов и грузин – не меньших ортодоксов, чем ромеи, смотрели с подозрением, так как они не знали греческой литургии. Необходимо было решить, какие отклонения признать допустимыми, какие же, чтобы не компрометировать ортодоксию, совершенно нетерпимыми.

В свою очередь, находясь в империи или под ее протекторатом, армяне не растворялись в массе подданных империи: религиозная специфика (особенно при значительной структурообразующей роли церкви на Кавказе в условиях раздробления власти) и иные культурные особенности (свой алфавит) стали факторами сохранения этнического единства (“нации”) армян.

Весьма сложным был и внутренний мир армян и грузин, проживавших и несших службу в империи (а таких было не мало среди имперской знати даже на высших постах). Яркий пример такого вельможи – полководец Григорий Бакуриан: этнически он “грузинский или армянский крупный феодал”, по культуре – “привержен к армянской”, по религии принадлежит к константинопольской церкви, а верность воина хранит императору. Его этнические чувства и культурные симпатии не совпадают, по мнению Дагрона, с его политической зависимостью. Его верность избирательна, а его личная

идентичность предполагает разрыв с идентичностью византийской.

Во втором разделе кратко обрисована позиция в отношении к Византии арабов. Византия для них – не только враг, которого надо победить, но и империя, которую нужно заменить, а для этого ее необходимо сначала изучить. Информацию о ней собирали тщательно и отовсюду, по путям открытым и тайным. Письменная информация при этом, основанная на документах, была точнее, но существенно запаздывала (как и у византийцев об арабах), а устная была более свежей, но менее точной. Не лишена интереса деталь – арабские географы активно заменяли греческие топонимы на арабские в потерянных империей регионах, преуменьшали силы и ресурсы империи, умаляли значение ее городов и достоинства их жителей даже тогда, когда Византия вернула себе добрую часть Сирии-Палестины.

Арабы имели свою Географию, но оставили Историю византийцам – “хозяевам времени и традиции, а значит – в политике и религии – также и законности”. Византийцы не основывали новых столиц, как арабы: им был достаточен великий Константинополь (Восточный Рим) – единственный истинный город, обеспечивавший правящему в нем суверену его ойкуменизм и его место в числе сменявшихся последовательно предшественников вплоть до Августа и Давида. Арабские описания Константинополя, его дворцов, рынков, церквей, церемоний, литургии и развлечений исполнены восторга. Арабы тосковали по нем, ощущали комплекс неполноценности, не сумев взять его, а потому испытывали “дефицит исторической легитимности”. Былое ожесточение борьбы постепенно перешло в пограничную конфронтацию, обе стороны признали территориальные организации друг друга, порой – в литературе – сожалели о несбывшейся мечте об уни и предпочитали наблюдать друг друга с расстояния, обмениваясь пышными посольствами, оспаривая престижность, соперничая в великолепии приемов, реквизита, торжественности. Даже циклы своих судеб эти “братья-враги” рассматривали как сходные и взаимосвязанные: возвышение одного сменялось упадком другого и наоборот. Соперничали арабы с империей и в культурной сфере, пытались принижать оригинальность византийской культуры (“передавали, не творя”), но в то же время преклонялись перед ней.

Третий раздел доклада посвящен китайцам. Источники здесь весьма скудны. Это

главным образом китайские хроники, объем информации которых о Византии, естественно, минимален: это была лишь географическая и политическая схема, на которую нанесено несколько анекдотов (смеси разновременных и случайных фактов с легендарными деталями о сказочной, богатой и неизвестной стране). Взгляд на империю не негативен, но точность наблюдений ограничена, угол зрения – со склонностью “китаизировать” очевидное, замечать только то, что им напоминает родную страну. Само описание западных пределов воспроизводит отчасти лучше известные в Китае пределы восточные.

Таким образом, координатор по второй теме выполняет, в сущности, еще две особые функции: во-первых, он “восполняет лакуну” – недостаточность территориального охвата проблемы в докладах на второй сессии и, во-вторых, предлагает краткую программу будущих исследований проблемы и некоторые связанные с этой задачей методологические рекомендации.

В остальных пяти докладах по второй теме были рассмотрены представления о Византии и отношении к ней разных народов, ближних и дальних. Л.А. Гарсия Морено (Испания) в докладе “Образ Византии в раннесредневековой Испании (VI–X вв.)” (с. 72–73) различает два периода в отношениях жителей Испании к Византии: до завоевания полуострова арабами (711 г.) и после этого события. До 711 г. ни жители Испании, ни византийцы в целом не сомневались в своей общности (все зависело от того, чья была власть): империя была объектом и восхищения, и критики испанских интеллектуалов. Впрочем, и в доаравский период, после подчинения визиготами своей церкви папству (589 г.), Византия стала восприниматься ими как препятствие к господству визиготов на всем полуострове. Однако критика испанов в адрес Византии касалась в основном религиозной сферы (“ромеев” тогда они стали впервые называть “греками”), и испанцы не переставали сочувствовать борьбе византийцев против персов и арабов.

После 711 г. отношение к Византии испанов-христиан в Астурии – независимом христианском королевстве на севере полуострова стало ярко негативным: они обвиняли “греков” как главных виновников завоевания арабами и игнорировали их “римскую легитимность”, следуя здесь, по-видимому, в русле антивизантийской каролингской пропаганды.

Что же касается Андалусии, находящейся

под властью мусульман, то интерес к Византии здесь не угасал ни среди христиан, ни среди мусульман. Омейядский Кордовский двор рассматривал империю как союзника в борьбе с Аббасидами и Фатимидами, как противовес в отношениях с западными христианскими странами и как крупнейший культурный центр – хранитель сокровищ античной культуры, посредством которого испанцы предпочитали багдадскому. Тем более высок остался в глазах христианских интеллектуалов Андалусии престиж Византии как очага постоянного религиозного обновления и оплота христиан против ислама.

В.А. Арутюнова-Фиданян (Россия) в докладе “Образ Византии в армянском мире в X–XII вв.” (с. 74–87) изложила свою позицию по поводу эволюции образа империи в армянских землях – от положительного в эпоху борьбы Византии с арабской экспансией (империя защищала и своих армянских союзников) до совершенно отрицательного, когда империя не смогла устоять против напора турок-сельджуков и оставила армян лицом к лицу с новыми завоевателями. Армяне (как и грузины), обладавшие почти столь же древней, как империя, христианской культурой, неизменно выступали вместе с империей в ее борьбе сначала с персами, затем с арабами и, наконец, с сельджуками. Византия дорожила этой их ролью и старалась утвердить свою гегемонию в этом регионе мирными средствами. В процессе длительных контактов и сотрудничества с армянами в населенном ими пограничном регионе сложилась особая (контактная) зона с характерной только для нее социально-общественной структурой и интенсивными формами культурного обмена. Византия не вводила здесь характерной для прочих провинций империи системы управления (фемного строя).

Византийские наместники делили здесь власть с местными магнатами, оформился влиятельный слой армян-халкидонитов – проводников византийского влияния, утвердилась атмосфера религиозной терпимости. Общественные и социальные институты, утвердившиеся на этой территории, оказывали, в свою очередь, влияние и на соседние земли империи.

“Кавказская проблема” оказалась, таким образом, затронутой в двух докладах на сессии (у Дагрона и Арутюновой-Фиданян), но подход авторов к ней различен, что позволило, как представляется, полнее раскрыть тему.

В докладе Г.Г. Литаврина (Россия) “Ви-

занятия и славяне до и после принятия ими крещения” (с. 88–96) были рассмотрены отношения империи в VI–XI вв. со славянами трех регионов: со славиниями (славянскими племенными военно-политическими объединениями) в глубине территории империи, со славянами северных районов Балканского полуострова (на которых возникли болгарское и сербские государственные образования) и с восточными славянами (вошедшими в первой половине IX в. в состав Руси).

В отношении первого генеральная задача политики империи состояла прежде всего в изоляции этих славян от их соплеменников на севере Балкан, в их подчинении и полной интеграции в состав своих подданных в ходе их постепенной этнокультурной ассимиляции. Решающие успехи на пути к этой цели были достигнуты в первой половине IX в., когда уровень общественного развития славян сделал их доступными для христианской проповеди, а затем и для крещения.

В отношении второго региона автор констатирует, что на смену почти столетнего аваро-славянского противостояния с империей пришли в начале 680-х годов продолжавшиеся почти в течение 200 лет (с непродолжительными перерывами) войны с болгарскими и подчиненными им верховной власти славянами. Основание Первого Болгарского царства надолго лишило империю надежд на возвращение под свою власть Балканского полуострова. Крещение болгар в 864/865 г. было результатом в первую очередь внутренних потребностей государства и острой необходимости в достижении равновесия в отношениях с ведущими государствами Европы. Давление империи, дипломатическое и военное, играло при этом меньшую роль, чем ее длительное и нарастающее культурное влияние. Принятие христианства ввело Болгарию в круг цивилизованных стран и в состав “византийского сообщества государств”, которое, однако, вопреки расчетам имперского двора и утверждаемой церковью и политиками империй доктрины, было ограничено только церковно-культурными узами, никогда (до завоевания Болгарии в 1018 г.) не переставшими в политическую зависимость. Будучи “крестницей” Византии, Болгария в течение более полутора веков оставалась (как и до крещения) соперницей империи на Балканах. Фактору единоверия обе стороны никогда не отдавали предпочтение перед экономическими и политическими интересами государства.

Что касается третьего (русского) региона, то начало регулярных контактов импе-

рии с его славянскими обитателями восходят только к рубежу VIII–IX вв., а их развитие – ко времени укрепления Древнерусского государства в начале X в. Инициатива в основном исходила от Руси, которая была весьма заинтересована в сношениях с империей и добивалась этого, не останавливаясь перед военным давлением.

Главная особенность отношений Руси с Византией определялась тем фактом, что крещение Руси совпало с заключением династического брака русского двора с императорским и с неоценимой военной помощью Киева Константинополю против опасного узурпатора. Все это резко повысило престиж Руси на международной арене и авторитет княжеской власти в своей стране. Христианская Русь не посягала на трон и столицу империи. Имея менее всего реальных оснований опасаться интриг и враждебных акций с ее стороны, она и впрямь более других членов “православного сообщества” дорожила связями с константинопольским двором. В течение почти 100 лет Русь систематически предоставляла империи свою военную помощь. Церковная зависимость никогда не оборачивалась на Руси каким-либо политическим стеснением для нее со стороны империи, вопреки попыткам (скорее церемониально-престижным, чем рассчитанным на реальный успех) политиков империи толковать конфессионально-культурные узы в качестве политических. Вероисповедное единство стран православного “византийского круга” не находило реализации на международной арене в каких-либо совместных акциях – идея солидарности и взаимопомощи стала утверждаться только в раннее новое время, когда уже не было ни “сообщества восточнохристианских стран”, ни самой Византии.

Э. Блажне-Маламу и М. Какуро (Франция) посвятили свой доклад “образу сербов в византийской риторике второй половины XII в.” (97–123), т.е., собственно, другой стороне поставленной на сессии проблемы (не византийскому образу в глазах сербов, а сербскому – в глазах византийцев). Разработали свою тему авторы тщательно и досконально, подвергнув анализу сочинения десяти византийских риториков. В докладе они сообщили, в сущности, только резюме опубликованного к началу Конгресса текста.

Докладчики констатировали, что высказываемые византийскими риториками отзывы о сербах, являются прямым отражением тех официальных и публичных представлений в империи о сербах, которые были основаны в

первую очередь на литературной традиции, а также запечатлены в пословицах, имевших заведомую цель очернить, а не сообщить подлинное знание. Образ сербов у византийцев был вместе с тем отражением христианской и имперской доктрины, противопоставлявшей (как источник справедливости – мятежнику) “господина мира” и имитатора Христа императора – жупану, рабу и вассалу. Поводом к риторическим дискурсам о сербах служили либо столкновения с сербами, из которых император выходил победителем, либо его акты милости к смирившемуся повелителю сербов.

Непременное свойство византийского менталитета – убежденность в непрерывной вассальной зависимости сербов от империи. И ее риторы также стояли на страже этой идеи, стремясь сохранить “легитимный” порядок вещей в период, когда своеволие сербского государя грозило освобождением Сербии от византийской опеки и переходом роли высшего покровителя жупана от императора к венгерскому королю.

Что же касается позиции самих сербов в отношении Византии, то докладчики полагают, что, испросив у Исаака II Ангела в жены своему сыну Стефану племянницу императора Евдокию, Неманя рассчитывал таким образом узаконить права на трон своего наследника, и подобного рода династическая идеология самих сербов не противоречила византийской доктрине. По представлениям высших правящих в Сербии кругов, женившийся на представительнице императорского дома Стефан становился по рангу третьим после Исаака II и своего отца, и это отнюдь не означало, что будущая власть его будет обусловлена не волей божьей, а только благоволением императора. Впрочем, в заключение докладчики подчеркивают, что ход истории опрокинул расчеты византийцев, и “византийская риторика должна была выбирать между молчанием или принятием нового порядка вещей”.

Последним на второй сессии был доклад К. Якумиса (Англия) “Мало затронутый исследованиями ареал–Албания. Недостаточно представленные в публикациях храмы и молебны X–XVII вв. на юго-востоке Албании” (с. 123–125).

Докладчик определяет как господствующие в современном византиноведении направления – стремление ученых расширить наши представления о Византии за счет осещения мало известных или непопулярных до сего времени в науке ареалов и за счет изучения влияния Византии на поствизан-

тийское пространство. Избранная тема и отвечает, по его убеждению, обоим этим направлениям в византинистике.

Доклад представляет собой информацию о более чем 20 церковных памятниках юго-юго-запада Албании и о состоянии их изучения (или о почти полном неведении о них в науке). Пять из них относится к византийской эпохе, остальные – к поствизантийской, но с явными чертами византийского влияния.

Что касается третьей пленарной темы (“Византия и Север”), то ее включение в программу по предложению Бюро Ассоциации было актом признательности мирового сообщества византинистов скандинавским организаторам Конгресса. Они и представляли, естественно, большинство докладчиков на сессии. Всего их было семь: С.Х. Фуглесанг (Норвегия) (“Критический обзор теорий византийского влияния в Скандинавии” – с. 137–168), А. Катлер (США) (“Византийское искусство и север: размышления о проблеме влияния” – с. 169–182), А. Кроманн и Й.С. Йенсен (Дания) (“Византийские подражания северному монетному делу с начала XI в.” – с. 183), А. Мутесиус (Англия) (“Византийский шелк в руках викингов” – с. 184–192), В. Дучко (Швеция) (“Шведские викинги и Византия – археологическая версия” – с. 193–200), М.В. Бибииков (Россия) (“Byzantinoscandia” – с. 201–211) и К. Фледелиус (Дания) (“Королевские скандинавские путешественники в Византии: образ Византии в датской и норвежской литературе раннего XIII века и в датской исторической драме раннего XIX столетия” – с. 212–218).

Подведя итоги новейших исследований докладчики отразили тенденцию к большей осторожности и ограничению когда-то слишком широких заключений об интенсивности скандинаво-византийских связей.

Анализ проблемы истоков, форм и путей византино-скандинавских контактов осуществлены докладчиками в основном по двум направлениям. Одна группа референтов сосредоточилась на памятниках археологии и искусства, уточняя их атрибуцию и прослеживая следы образного и стилистического взаимодействия двух культур. Другие исследования обобщили материалы всех выявленных к настоящему времени письменных источников по скандинаво-византийской проблематике, продемонстрировав значительное расширение базы данных для изучения темы.

В первой группе докладов преобладала тенденция дезатрибуции многих хорошо из-

вестных художественных произведений и памятников, бесосновательно относившихся долгое время традицией к византийскому культурному наследию в Скандинавии. Это касается и знаменитого креста Дагмар, относимого ныне либо северорусскому, либо даже балто-шведскому ателю, и иконографии Поклонения волхвов, связываемой теперь с иллюминированием в оттоновском окружении, и архитектуры сицилийских норманнов, находящей параллели скорее в искусстве Франции и Германии, чем Скандинавии (доклад С.Х. Флуглесанга). Наибольшей концентрацией зримых следов контактов двух географически периферийных цивилизаций средневековой Европы отмечен Готланд, где обнаружено абсолютное большинство (84%) нумизматических находок эпохи викингов в Швеции (около ста серебряных милиарисиев 977–989 гг., отчасти – 1025–1055 гг., а также золотые номисмы Романа III – 1028–1034 гг.). Примечательно, что Готланд расценивается как известный центр русско-шведских контактов, имевший, вероятно, и православный приход: показательными могут быть находки керамических глазурированных пасхальных яиц – русского импорта (доклад В. Дучко). А. Катлер настаивал на принципиальном различии понятий “контакты” в области культуры и “влияние”: многочисленные известные “византино-скандинавские” памятники, анализируемые в данной связи, свидетельствуют скорее просто о контактах, чем о “влиянии” Византии на Скандинавию. Дезавуируется и ставшая стереотипом неопределенная “русско-византийская” атрибуция находок, ибо современные методики позволяют с большей точностью идентифицировать место изготовления произведений мелкой пластики, иконописи, скульптуры.

А. Матесус построила свой анализ путей распространения византийского шелка в балто-скандинавском регионе на сопоставлении археологических, музейных и церковных материалов со свидетельствами саг, рунических надписей и византийских письменных источников. На основании всего этого определяется обширный ареал контактной зоны культур, свидетельствующий о трех главных путях проникновения ценившегося буквально “на вес золота” византийского шелка на северо-запад Европы: по черноморско-днепровскому, волжско-каспийскому и дунайско-центральноевропейскому.

М.В. Бибиков проследил эволюцию взаимных представлений византийцев о скандинавах и северян о греках по мере углубления

их контактов. Реальным свидетельством интенсификации этих связей является значительное число в Византии известных ныне лиц “северного” происхождения: скандинавский ономастикон, отраженный в выявленных за последние годы свидетельствах, достигает почти ста человек.

Наконец, К. Фледелиус сопоставил византийские сюжеты исландских саг и истории Саксона Грамматика со скандинавскими литературными произведениями XIX в., в которых тема Константинополя получила неожиданное романтизированное развитие.

В целом доклады третьего пленарного заседания и дискуссия по ним подтвердили центральную роль Руси в осуществлении скандинаво-византийских контактов, уточнили атрибуцию (где-то русскую, где-то византийскую) ряда анализируемых памятников и выявили существенный прогресс в расширении источниковедческой базы византиноскандики.

Четвертая пленарная тема “Образ и влияние Византии после 1453 г.” отразила нарастающий интерес византинистов к проблеме *Byzance après Byzance*. Из десяти докладчиков по теме шесть искали решения проблемы в основном на пути анализа материалов искусства. Докладчики из Греции (М. Ахеимасту-Потамиу, С. Малалукос, М. Поливиу, Я. Кицис, Ф.С. Мандопулу-Панайотопулу), Франции (Т. Вельман) и Швеции (Н. Линдгрэн) убедительно показали сохранение, прежде всего в сфере культовой живописи и зодчества, византийских норм как образцов (“подлинников”), на которые веками ориентировались мастера в ортодоксальном мире. По мысли Р. Готони (Финляндия), Афон остался непотопляемым и вечным “кораблем Византии” в православном пространстве: без учета роли Афона, “пронизанного византийским духом”, нельзя говорить ни об образе Византии, ни о влиянии ее культуры.

Четыре доклада по этой теме были посвящены весьма сложным теоретическим проблемам особенностей образа Византии в восприятии представителей европейского общества в новое и новейшее время. Таковы доклады М. Китромиллидиса – о переменах в восприятии византийского наследия в Европе, А. Табаки – “Византия сквозь призму неоэллинистического просвещения”, Роксаны Аргиропулос – о реабилитации Византии интеллектуалами Греции второй половины XIX – начала XX в. и основательное обозрение К. Фледелиуса – “Византия и Запад. 1204–1996 – Европейская перспектива”. Все эти докладчики развивали в сущности кон-

цепцию Н. Йорги “Byzance après Byzance”, стремясь “реабилитировать” историю и культуру империи как органичную часть истории греков: Византия выполнила миссию хранителя цивилизации в эпоху варварства, внося весомый вклад в будущий Ренессанс Европы. Представление о почетном месте Византии как средневекового моста между античностью и современным миром постепенно находит все более широкое признание в науке.

Пятая проблема “Инструментарий исследований и расширение знаний. Настоящее и будущее византийских штудий” представляет собой неперемнную почти на каждом конгрессе тему, обычно называвшуюся *Instrumenta studiorum*. Закрывая эту сессию, председательствовавший на ней С.П. Карпов (Россия) отметил в частности, что наблюдавшееся недавно противопоставление традиционных и электронных изданий текстов не является более актуальным. М. Джеффрис, Э. Хрисос и др. показали существенные преимущества электронных публикаций как исследовательского инструмента. Наука находится здесь, однако, еще в начале пути, хотя уже очевидно разное функциональное предназначение и взаимодополняемость (а не взаимоисключаемость) и разный адресат традиционных изданий и их электронных вариантов из CD ROMах и иных носителей.

Определенные успехи обозначились и в создании баз данных, как библиографических (о чем на примере библиографии *Byzantinische Zeitschrift* сообщили П. Шрайнер и К. Шольц), так и тематических (Агиографический проект Думбартон Окса – доклад Э.-М. Тэлбот).

Наибольший результат новые технические средства дали, пожалуй, просопографическим штудиям и исследованиям по исторической географии (доклады И. Кодера, Дж. Мартиндейла, К. Лудвиг и Э. Траппа). При использовании методов исторической информатики ставятся новые для науки задачи, в частности, по реконструкции утраченных архивов Причерноморья (сообщение С.П. Карпова).

Пока разочаровывают из-за поверхностности и невыверенности информации византийские страницы в Интернете. Для превращения их в исследовательский инструмент, необходима, очевидно, широкая международная конференция.

Данная пленарная тема была дополнена коллоквиумом “Методология. Новые методы исследования”. Впрочем, и под “методо-

логией” здесь также разумелись приемы атрибуции и классификации рукописей, внедрение электронной документации в музеях и компьютеризация просопографического материала.

Остановившись коротко на круглых столах и коллоквиумах. Наиболее существенными по тематике были 6 круглых столов (всего их было 11): “Византия и античность”, “Византия и Восточная Центральная Европа”, “Византийское влияние на искусство иных народов”, “Переосмысление византийского феодализма”, “Македонский Ренессанс. Были ли действенными тенденции к переоценке? Сила и функция византийской иконы”, “Византия и современный мир”.

Названия коллоквиумов приведем все (их было 9): “Внешние отношения”, “Внутренняя жизнь, экономическая и социальная история”, “Вопросы демографии, этнографии и географии”, “Строения, поселения и материальная культура”, “Искусство”, “Церковь”, “Язык, литература и мышление”, “Вспомогательные дисциплины”, “*Instrumenta studiorum*. История византиноведческих исследований”. Обычно на конгрессах коллоквиумы организовывались для рассмотрения актуальных вопросов. Отступление Оргкомитета от этого принципа привело, как кажется, к обеднению проблематики Конгресса. Из-за слабой скоординированности тематики коллоквиумов и круглых столов с двумя центральными пленарными темами эти темы не получили дальнейшей разработки в более тесном кругу исследователей, заинтересованных в детальном обсуждении пленарных проблем.

Обычно популярная на конгрессах тема “Внутренняя жизнь, экономическая и социальная история” не вызвала на этот раз заметного интереса у участников Конгресса. Мало того, из 22 заявленных на коллоквиуме сообщений едва половина вполне соответствовала его теме. Среди круглых столов единственным значимым по указанной тематике был стол “Переосмысленный византийский феодализм”, в работе которого кроме Л. Максимовича (Югославия), приняли участие в основном греческие ученые (Т. Лунгис, И. Караяннопулос, Н. Икономидис, В. Пеннас). Одним из мотивов организации этого стола были, несомненно, мысль о “крушении” марксистской концепции общественно-экономических формаций, а также возникшая в связи с этим уверенность в резком ослаблении позиций византинистов-“феодалистов”. Дискуссия показала, однако, что ученые, признающие общественный

строй Византии феодальным (при всем его своеобразии), отнюдь не расценивают свои позиции ослабленными, ибо не усматривают прямой зависимости концепции византийского феодализма от слабостей теории общественно-экономических формаций. Априорная убежденность в некорректности анализа источников марксистами находится в остром противоречии с современной историографией: среди ученых, которым наука в последние годы обязана крупными успехами в сфере изучения экономики, социальных отношений и государственной системы, находятся и марксисты. Слабость социально-экономической тематики на Конгрессе следует объяснить, видимо, тем, что в его работе не приняли участия многие из видных исследователей. Среди причин этого – и тот выбор пленарных тем, который сделан Оргкомитетом (экономике и социальным вопросам там предусмотрено мало места).

Упомянем специально и о заседании по проблеме истории византийского менталитета, представлявшем собой подразделение коллоквиума “Язык, литература и мышление”. В сообщении М.В. Бибикова (Россия) были прослежены изменения в византийских концепциях, связанные с постепенным, но неуклонным проникновением принципов христианской антропологии в повседневность, быт, семью – как монарха, так и ученого, как купца, так и крестьянина. На социальных различиях в восприятии времени остановилась и Х. Ангелиди (Греция), показавшая, что император и “народ” могли жить как бы в “разновременности”.

М.А. Поляковская (Россия), анализируя проблему о том, чего боялись византийцы, продемонстрировала различия в доминантах жизнедеятельности двух влиятельнейших групп поздневизантийского общества: если для интеллектуалов важнейшей ценностью и привилегией была свобода высказывания и досуг, то для корпоративного чиновничьего мироощущения преобладало чувство страха потери места, остановки продвижения по служебной лестнице. Культивировалось среди них и искусство следовать правилам карьерно-бюрократической игры, определявшей феномен так называемого “византизма”.

Школе палеологовского периода посвятил свое выступление Ф. Тиннефельд (Германия), выявивший различия в системах государственного, церковного и частного образования в Византии. Знаменательно то, что хотя наиболее уязвимой в материальном отношении, особенно в периоды кризисов,

была частная форма обучения, именно эта школа высокообразованных гуманистов, превращавших школьные занятия в собрания своеобразных кружков духовных единомышленников, давала наивысший уровень образования.

Наконец, кратко – о слабо представленной на Конгрессе археологической проблематике. Немногочисленные сообщения на эту тему были рассредоточены по трем круглым столам: “Археология и материальная культура: Греция, Малая Азия, Стамбул, Египет”, “Археология и материальная культура: Иордания и Европа” и “Керамика и стекло”. К тому же многие из заявленных в программе сообщений (из-за того, что докладчики не прибыли на Конгресс) не состоялись, а именно сообщения А. Сазанова (Украина) о хронологии керамических изделий Каффы, Ю. Иващенко (Украина) о ранневизантийском керамическом производстве, И. Полла (Румыния) о находках объектов X–XIII вв., М. Акары (Турция) о керамических находках при раскопках церкви св. Николая в Мире. Конечно, опубликованные перед Конгрессом краткие резюме весьма полезны, но они не могут дать желательного представления о трактовавшихся в этих сообщениях вопросах.

Большую часть сообщений о раскопках сделали на Конгрессе греческие ученые. П. Петридис, основываясь на находках керамики, доказывал наличие культурного слоя III–VII вв. на территории римской агоры в Дельфах. У. Брускири отметил следы интенсивного строительства частных домов в III–V вв. в городе Кос, расценив эти данные как доказательство благосостояния города; обнаружены в нем и объекты VI–VII вв. и, напротив, отсутствуют находки от VIII–XIII вв. В сообщении Д. Росера и Х. Хилла (США) были проанализированы материалы раскопок славянского поселения в районе Гревена (Юго-Западная Македония). Позднеримские строительные остатки перекрываются здесь раннесредневековыми славянскими, относящимися ко времени их расселения на Балканах. Д. Албани доложил о результатах раскопок Пейре (Крит) – монастыря, существовавшего в начале VII – начале IX в. (до арабского вторжения в 824–827 гг.) и возродившегося в X–XI вв.

Большой интерес вызвало сообщение С. Отюкена (Турция) и шестилетних раскопках храма св. Николая и о периодизации его строительства. На заседании состоялись и два сообщения российских ученых: О. Ошариной о светильниках V–VI вв. и А. Роман-

чук о значении раскопок в Херсонесе для изучения византийского города вообще и для понимания феномена “археологических лакун”.

Безусловный интерес для археологов представляют всегда доклады на архитектурную тематику. Среди таких докладов как наиболее информативный и основательный отметим доклад Х. Бураса (Греция), предложившего продуманную и логичную типологию византийских храмов.

Датский оргкомитет устроил две выставки (в Москве и С.-Петербурге в 1991 г. их было 11): 1. В Глиптотеке города была размещена выставка “Позднеантичные и византийские предметы в скандинавских коллекциях”, где наиболее богатым оказалось собрание икон русского происхождения. 2. Выставка новейших византиноведческих изданий, в которой принял участие и Российский нацком, благодаря любезности греческих ученых (они уступили часть своего стенда под российские издания, вышедшие между конгрессами и насчитывавшие около 80 названий). Российский нацком подарил Датскому оргкомитету (в сущности – Копенгагенскому университету) в знак благодарности за благожелательное внимание к российской делегации всю свою выставку целиком.

Говоря специально об участии российских византинистов в работе XIX Конгресса, отметим тот факт, что дважды на пленарных заседаниях в официальных выступлениях упоминалось о крупной роли, сыгранной на рубеже XIX – XX вв. российскими византинистами не только в развитии, но и в становлении мирового византиноведения как гуманитарной отрасли знания. На заключительном пленарном заседании, в докладе проф. Д. Оболенского (почетного президента Ассоциации и иностранного члена РАН) об итогах Конгресса была отмечена научная активность современных российских византинистов, нашедшая отражение и в их выступлениях на Конгрессе.

Подлинно сенсационным для всего сообщества византинистов явился тот факт, что российская делегация оказалась второй по численности (после греческой) среди всех национальных делегаций на Конгрессе: она насчитывала 38 человек (греков было 59). Никогда ранее, начиная с середины 50-х годов, делегация византинистов из нашей страны на конгрессах не была столь многочисленной и столь “молодой” – около 30% российской делегации составляла молодежь. Значительно расширилось на этот раз и представительство региональных научных

школ: помимо ученых Москвы (27 делегатов), в Конгрессе приняли участие 11 специалистов из Санкт-Петербурга, Екатеринбургa, Волгограда и Владивостока.

Российские ученые представили на пленарные заседания четыре доклада (три из них состоялись), сделали 32 сообщения на всех 9 коллоквиумах и выступили на 5 круглых столах из 11. Шестеро российских коллег приняли активное участие в подготовке и организации работы научных подразделений Конгресса. В целом участие российских делегатов в научной работе Конгресса было весьма значительным. Благожелательный прием у аудитории нашли их выступления на пленарных заседаниях (доклады В.А. Арутюновой-Фиданян, М.В. Бибикова и Г.Г. Литаврина). Традиционно крупный вклад и на этот раз в работу Конгресса внесли российские искусствоведы: повестка ряда сессий была целиком или почти целиком укомплектована за счет их сообщений. Они сделали до четверти всех докладов по искусству. Характерная деталь: лишь 6–7 выступлений российских делегатов (из 38) были сделаны на русском языке.

Масштабы участия российских ученых в работе XIX Конгресса в немалой степени зависели от предконгрессной активности Национального комитета византинистов России. Чрезвычайно облегчило дело решение Датского оргкомитета о бесплатном размещении в Копенгагене всех 38 делегатов из России. Материальную поддержку оказали также: Российский гуманитарный научный фонд, Президиум РАН, Ассоциация византиноведческих исследований в лице ее президента И. Шевченко, привлечение средства частных зарубежных фондов. В целом в той или иной форме нацком оказал поддержку почти половине российских делегатов.

Приняли участие в XIX Конгрессе и наши коллеги из республик бывшего СССР (Грузии, Армении и Украины) и из бывших соцстран. Армении представляли 3 делегата, Грузию – 4, Украину – 7, а бывшие соцстраны – 21 ученый.

На последнем заседании Исполкома Ассоциации в конце работы Конгресса в Ассоциацию были приняты нацкомы Албании, Китая и Украины (осталось урегулировать лишь некоторые формальности). Кроме того, в Ассоциацию поступило заявление с просьбой о принятии от нацкома Грузии.

Избрано было и новое руководство Ассоциации: президентом на предстоящие 5 лет стал член Французской Академии наук, профессор Collège de France Жильбер-

Дагрон, генеральным секретарем – глава Греческого центра византиноведческих исследований (Афины) профессор Афинского университета Н. Икономидис и казначеем – профессор Кёльнского университета П. Шрайнер (ФРГ). Почетными президентами стали Д. Оболенский и И. Шевченко, вицепрезидентами – И. Караяннопулос и Б. Ферьянчич.

Следующий XX Конгресс состоится в 2001 г. в Париже.

Г.Г. Литаврин, М.В. Бибиков (о сессии “Византия и Север”) и о коллоквиуме “История ментальности”), С.П. Карпов (о сессии “Инструментарий исследований”) и А.И. Романчук (об археологической проблематике Конгресса).

Доклады по истории искусства на XIX Международном конгрессе византиноведческих исследований в Копенгагене

В кратком обзоре невозможно рассказать о всех докладах по истории искусства на Конгрессе. Даже просто перечислить более пятидесяти названий было бы затруднительно. К тому же в этом и нет особой необходимости, поскольку опубликован том пленарных докладов и том тезисов сообщений на коллоквиумах. Можно лишь попытаться высказать основные впечатления, отметить некоторые тенденции и кратко описать участие российских историков искусства в работе Конгресса, естественно, не претендуя при этом на полноту и абсолютную объективность картины.

Главное впечатление от работы Конгресса состоит в том, что с точки зрения науки о византийском искусстве он носил, к сожалению, маргинальный характер. Ни в программе Конгресса, ни в содержании основных докладов не было выдвинуто практически никаких новых концепций, методологических подходов, неожиданных интерпретаций.

Актуальная проблематика современной истории византийского искусства, если и присутствовала на Конгрессе, то была растворена в материалах докладов на очень конкретные сюжеты. В целом возникало ощущение мелкотемья и некоторой стагнации, что лишь отчасти соответствует действительности, поскольку наука о византийском искусстве, особенно в США, Англии, России и Греции принадлежит к числу приоритетно развивающихся гуманитарных дисциплин. Возможно, это связано с тем, что ряд ведущих исследователей византийского искусства, в их числе Т. Мэтьюз, Г. Мэгвайр, Г. Белтинг, К. Уолтер, Р. Кормак, проигнорировали участие в конгрессе. Очень небольшими были американская и английская делегации. Не было никого из еще недавно очень сильной сербской школы искусствоведческой медиевистики, отсутствовали болгарские, грузинские и армянские колле-

ги, что, по всей видимости, объясняется не только научным кризисом в постсоциалистическом пространстве, но и чисто экономическими проблемами.

На этом фоне абсолютно доминировали по числу участников российская и греческая делегации, которые со стороны ироничного наблюдателя могли бы быть восприняты как две соревнующиеся команды, претендующие на все более полное освоение великого византийского наследия. Не боясь показаться необъективным, поделюсь своим личным мнением, что российские исследователи выглядели несколько более современными, во многих, хотя и не во всех, греческих докладах преобладали традиционные атрибуционно-стилистические подходы, характерные и для российской науки недавнего прошлого. Российское искусствоведение представляли десять исследователей из Москвы и Санкт-Петербурга, работающие в таких научных организациях как ВНИИ Искусствознания, Отделение истории искусства МГУ, Центр восточнохристианской культуры, Гос. Эрмитаж и Русский музей. Все доклады были прочитаны на английском, немецком и французском языках и ориентированы, главным образом, на иностранных коллег, которым сообщались результаты новейших исследований. Большинство докладов было посвящено памятникам Древней Руси, рассмотренным в контексте византийского искусства: киевским Михайловским мозаикам (О.С. Попова), росписям Софии Новгородской (Л.И. Лифшиц), росписям псковского Мирожского собора (О.Е. Этингф), древнейшим русским иконам (Э.С. Смирнова), русским иконам св. Николая (И.А. Шалина). В нескольких докладах рассматривались византийские памятники из российских коллекций – менологий из ГИМ, Син. 183 (Э.Н. Добрынина), палеологовские золотые иконки и поствизантий-